

С РАБОЧЕГО СТОЛА УЧЕНОГО

УДК 821.161.1 (Платонов А.) ББК Ш5(2Рос=Рус)6-4

Е. Н. Проскурина
Новосибирск, Россия

ФАУСТ – ПЕТР – МЕФИСТОФЕЛЬ: «ОБРАТНАЯ ФАУСТИАНА» В РАССКАЗАХ А. ПЛАТОНОВА «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИТЕЛЬ» И «УСОМНИВШИЙСЯ МАКАР»¹

Аннотация. В статье рассказы Платонова «Государственный житель» и «Усомнившийся Макар» анализируются в аспекте фаустовской традиции, включающей в себя литературный образ Петра I. Деградация героя фаустовского типа: от полноты поиска гармонии бытия – через двуипостасность цезаризма Петра I – к абсолютной дьяволизации – такова стратегия «обратной фаустианы». Платонова в ее развитии от раннего творчества к началу 1930-х гг.

Ключевые слова: творчество А. Платонова, фаустовский сюжет, герой фаустовского типа, литературный диалог, пародирование, автопародия.

E. N. Proskurina
Novosibirsk, Russia

FAUST – PETER – MERPHISTOPHELES: “CONTACT FAUSTIANA” IN THE PLATONOV'S STORIES “STATE RESIDENT” AND “DOUBT MAKAR”

Abstract. The story of Platonov “State resident” and “casting doubt Makar” is analyzed in terms of the Faustian tradition, including a literary image of Peter I. Degradation of the Faustian character types: the completeness of the search for harmony of life – through duiipostasnost Caesarism Peter I – the absolute diabolization – this strategy of “reverse faustianity.” Platonic in its development from the early works of the beginning of the 1930s.

Keywords: creativity Platonov, Faustian story, Faustian hero type, literary dialogue, parody, avtoparodiya.

Во второй половине 1920-х гг., когда на смену «стихийным силам» революции приходит оформившаяся в «твердое тело» государственно-бюрократическая система, на поверхность выступает проблема *личность и государство, человек и власть*, нашедшая свое отражение в литературе этого периода. В творчестве Платонова на идейно-тематический уровень данная проблема выходит в рассказах «Государственный житель» (1927) и «Усомнившийся Макар» (1929), складывающихся в своеобразную дилогию, входящую в автоконтекстуальное пространство повести «Котлован». Актуальность самого вопроса, обостряющегося в постреволюционное время, становится объединяющим фактором для названных рассказов с «Фаустом» Гете и «Медным Всадником» Пушкина, также появившимися после двух революций: Американской (1776) и Французской (1789). На последнее обстоятельство указывает в своей книге Р. Шульц [Шульц 2006: 398].

Пародирование государственной идеологии в рассказах Платонова прорастает из повести «Город Градов», написанной в том же 1927 г., что и «Государственный житель», выступая из бюрократической «школы градовской философии» (Л. Шубин) в личностную сферу «заботливой нужды». Чиновничья позиция градовского «государственного человека» Ивана Федоровича Шмакова, обозначаемая не

только в его деятельности, но и в личных «записках», воспринимаемых им «мировым юридическим сочинением» [Платонов 2009а: 136], в «Государственном жителе» преобразуется в душевное проявление «полезного участия» в наступлении «государственного счастья». Повествование из сферы сознания героя-простеца, с наивной добросердечностью осмысляющего сложность бытования государства в окружении враждебной ему природно-человеческой стихии, рождает неповторимую платоновскую лирически-ироническую интонацию, смягчающую сатирическую направленность произведения. Однако чем дальше развивается сюжет, тем явственнее становится нравственная ущербность и бесчеловечность «государственного мышления» Петра Веретенникова, «вынимая» его из ряда платоновских «сокровенных» героев.

В «Государственном жителе» правовая антитеза *гражданин – государство* развернута в проблемную плоскость *государство – население*. В сознании «маленького человека» Петра Евсеевича Веретенникова, осознающего себя «государственным жителем», государство – некое высшее *оно*, сродни отвергнутому революцией Богу, обеспечивающее «необходимой жизнью» существующее при нем население. Поэтому «себя и государство» Петр Евсеевич «всегда называл на вы, а население на ты» [Платонов 2009б: 154], видя задачу последнего в ожидании, когда до него дойдет очередь автоматической государственной заботы, и умении «существовать тише», соотнося свои потребности с возможностями государства:

¹ Работа выполнена в рамках Интеграционного проекта СО РАН «Литература и история: сферы взаимодействия и типы повествования».

Теперь мне вполне понятно, – успокоился Петр Евсеевич. – Государство тут есть, потому что здесь забота. Только надо населению сказать, чтобы оно тише существовало, иначе машины лопнут от его потребностей [Платонов 2009б: 152].

Здесь Платонов иронически обыгрывает марксистско-ленинскую максиму коммунизма «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

Мотив тревоги за судьбу мира и человека, мысль о непрочности, зыбкости человеческого существования, занявшие одно из ведущих мест в мировоззрении XX века, в сознании платоновского героя приобретают перевернутое звучание, преобразуясь в заботу о сохранении «общего тела государства» от живой жизни:

И что это делается, господи боже ты мой? Что ж тут цело будет, раз никакому добру покоя нет? Замучили меня эти стихии – то дожди, то жажда, то воровья, то поезда останавливаются! Как государство-то живет против этого?..

Согнав птиц с проса, Петр Евсеевич замечал под ногами ослабевшего червя, не сумевшего уйти вслед за влагой в глубину земли.

“Этот еще тоже существует – почву гложет! – сердился Петр Евсеевич. – Без него ведь никак в государстве не обойдешься!” – и Петр Евсеевич давил червя насмерть: пусть он теперь живет в вечности, а не в истории человечества, здесь и так тесно [Платонов 2009б: 155–156].

Жест героя, убивающего «на смерть» червя, объединяясь в единую модель с «затвердевшим» телом государства («Петр Евсеевич правильно полагал, что сочувствовать надо не преходящим гражданам, а их делу, затвердевшему в образе государства. Тем более необходимо было беречь всякий труд, обратившийся в общее тело государства» [Платонов 2009б: 155]), корреспондирует к скульптурной группе Медного Всадника, где правое копыто коня стоит на теле змеи, символизирующей «темные силы»². Тем самым в тексте создается пародийный эффект, превращающий «маленького человека» Петра Веретенникова в сниженного двойника царя-преобразователя³. В полном имени героя: Петр Евсеевич – отражено слияние двух полярностей, величия и «маленькости», соответствующих пушкинской дуаде Петра и Евгения. В межтекстовом пространстве полное именование героя сигнализирует о его

диалогической функции. Отчество выступает здесь субститутотом «благородного» имени, ибо, будучи простонародного происхождения, платоновский Петр не мог именоваться Евгеньевичем, что к тому же открыто свидетельствовало бы о диалоге Платонова с Пушкиным, нарушив творческое кредо писателя, всячески скрывавшего «литературность» своих текстов. Имя же Евсей (в полном варианте – Евсевий) по сфере бытования, хотя и не особо распространенное в русской традиции, больше подходит для того социального круга, в котором жили предки Петра Веретенникова. Особенно на простонародность имени указывают его разговорные формы: Авсей, Овсей, Евсейка, Евся, Евсюта. В выборе автором данного имени в качестве отчества героя ключевую роль, на наш взгляд, сыграла его звуковая и ритмическая близость с именем Евгений: Евгений – Евсевий; Евгеньевич – Евсеевич. Причем, два этих имени, оба древнегреческого происхождения, близки не только по звучанию, но и по значению: Евгений – *благородный*, Евсевий – *благочестивый*. Эта близость означает и в пушкинской поэме: «...трудом / Он должен был себе доставить / И независимость, и честь» [Пушкин 1977: 278. Курсив наш – Е. П.], – говорит о Евгении автор, утверждая понятие чести составной частью благородства, обеспечивающей его полноту. Таким образом, при отсутствии мотивации дать своему герою «пушкинское» отчество и, с другой стороны, боясь слишком прозрачных отсылок к «Медному Всаднику», Платонов находит оригинальный выход из ситуации, подбирая в качестве номинации предельно близкую к пушкинскому варианту замену. Данное творческое обстоятельство приводит к мысли о том, что концепция близости Петра и Евгения, царя и обыкновенного человека, сформулированная в статье 1937-го г. «Пушкин – наш товарищ», начала формироваться у Платонова как минимум десятью годами ранее, проходя на этом пути разные стадии, от травестирования до убежденности в равноценности их личностного масштаба⁴.

Двойничество героя «Государственного жителя» с Петром I поддерживается «великим» масштабом его забот, часто при этом связанных с водной проблемой. Однако аллюзии на петровские инициативы приобретают здесь открыто сатирическое звучание: в безводной деревне, расположенной «по склонам действующего оврага» и мучимой жаждой и болезнями, он подает жителям надежду, «что их нужду в питье должна знать вся Республика ...

– Питье тебе предоставят, – обещал он. – У нас же государство. Справедливость происходит автоматически, тем более питье...» [Платонов 2009б: 153].

В настроенности Петра Евсеевича на «автоматическую» заботу государства, обеспечивающую население «необходимой жизнью», на «размножающуюся силу порядка и социальности» слышится

² Эпизод с червем также «рифмуется» с психологическим жестом гетевского Фауста, проклиная Мефистофеля за трагическую судьбу Гретхен: «Пес! Отвратительное чудовище! О дух бесконечный! Преврати его, преврати червя этого в его собачий образ, ... чтобы он пресмыкался передо мной по земле, чтоб я мог ногами топтать его, отверженного» [Гете 1996: 200. Курсив наш – Е. П.].

³ Продумывая концепцию памятника Петру, Фальконе свой замысел объяснял так: «Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем и другим. Гораздо выше личность создателя, законодателя, благодетеля своей страны, и вот её-то и надо показать людям. Мой царь не держит никакого жезла, он простирает свою благотворительную десницу над обезжаемой им страной. Он поднимается на вершину скалы, служащей ему пьедесталом, – это эмблема побеждённых им трудностей» [См.: Соловьева 2007: 31–51].

⁴ «Пушкин отдаёт и Петру и Евгению одинаковую поэтическую силу, причем нравственная ценность обоих образов равна друг другу. <...> В преодолении низшего высшим никакой трагедии нет. Трагедия налицо лишь между равновеликими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой» [Платонов 1985: 292].

ироническая разработка фаустовского вопроса о Первоначалах. Решенный демиургическими проектами Петра I в пользу «дела», в устах его сниженно-двойника он переводится в план чистой демагогии, травестирующей евангельский тезис «В начале было Слово» (Ин. 1: 1):

Как это вы все делаете без увязки? – сам удручался и комсомольцев упрекал Петр Евсеевич. – Ведь тут грунт государственный, государство вам и колодезь даст – ждите автоматически, а пока пейте дожди!..

Покидал Козьму Петр Евсеевич с некоторой скорбью, что нет у граждан воды, но и со счастьем ожидания, что, стало быть, сюда должны двигаться государственные силы и он их увидит на пути [Платонов 2009б: 154].

Однако обещание «автоматического государственного счастья» не сбивает общего привычного движения повседневной трудовой жизни, картина которой выписана Платоновым в пушкинских красках:

А утром мимо его окон проходили на работу старики-кровельщики, нес материал на плече стекольщик, и кооперативная телега везла говядину; Петр Евсеевич сидел, как бы пригорюнившись, но сам наслаждался тишиной государства и манерами трудящихся людей. Вон пошел в потребительскую пекарню смирный, молчаливый старикашка Терморезов; он ежедневно покупает себе на завтрак булочку, а затем уходит трудиться в сарай Копромсоюза, где изготавливаются веревки и пеньки для нужд крестьянства.

Разутая девочка тянула за веревку козла – пастись на задних дворах; лицо козла, с бородкой и желтыми глазами, походило на дьявола, однако его пускали есть траву на территории, значит, козел был тоже важен [Платонов 2009б: 156].

Утренняя жизнь жительствоует словно сама по себе, в привычном и естественном, по-пушкински гармоничном ритме, при незаметности, «тишине государства», чем втайне наслаждается Петр Евсеевич. – Ср. с картиной петербургского утра в «Евгении Онегине»:

Встает купец, идет разнощик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец аккуратный,
В бумажном колпаке, не раз

Уж отворял свой *васисдас* [Пушкин 1978: 21.
Здесь курсив автора – Е. П.].

Только дьявольский облик козла вносит в платоновскую трудовую идиллию элемент дисгармонии, служа знаковой отсылкой к фаустовской сюжетной парадигме.

Последние сцены рассказа обнажают дьявольскую логику безобидной, на первый взгляд, демагогии героя, иногда неожиданно дающей положитель-

ный результат. Так, после беседы Петра Евсеевича с жителями Козьмы в деревне появляется «старик в экипаже», оказавшийся «профессором от государства», приехавшим доставить жителям «воду из материнского пласта». Тем самым ответ «отеческой» государственной заботы падает и на Веретенникова:

Теперь мы, Петр Евсеевич, считай, будем с питьем. За это я тебе корчажку молока завез: если б не ты, мы либо рыли зря, либо не пивши сидели, а ты ходил и говорил: ждите движения государства, оно все предвидит. Так и вышло. Пей, Петр Евсеевич, за это наше молоко... [Платонов 2009б: 157].

Бесчеловечность «государственной» позиции героя выявляется в сцене беседы с нищим мальчиком, которому он отказывает в подавании из-за того, что тот «сам виноват» в своем нищенском положении, так как его сестры вовремя не воспользовались благом от государства – вовремя не привили себе оспу за казенный счет, а теперь «они рябые, их мужики замуж не берут» [Платонов 2009б: 159], и от этого в доме «едят одну картошку» [Платонов 2009б: 159].

... раз вы не хотите жить по государству, – вот и ходите по железным дорогам. Сами вы во всем виноваты – так пойдите матери и скажи! Какие же я тебе две копейки после этого дам? Никогда не дам! Надо, гражданин, оспу вовремя прививать, чтоб потом не шататься по путям и не ездить бесплатно в поездах! [Платонов 2009б: 160].

Сомнения Петра по поводу места, «которое занимал этот мальчик в государстве: необходим ли он?» [Платонов 2009б: 159], горьким сарказмом отзываются в финале рассказа, где открывается, что он сам «состоял безработным по союзу совгосслужащих и любил туда являться, чувствуя себя служащим государству в этом учреждении» [Платонов 2009б: 160]. Перевернутое мышление «государственного жителя» достигает здесь высшей точки абсурда, возведенного в степень нормы социального существования.

В рассказе «Сон Макара» проблема *человек и государство* предстает как сопоставление двух правд, личной и общей, частного человека и властелина, «нормального» и «выдающегося», прочерчивая новую линию к проблематике «Медного Всадника». Фаустовские реминисценции встраиваются в нее через антитезу *природного ума и научного знания*.

Правда «выдающегося» «члена государства» Льва Чумового дискредитируется уже в экспозиционной части рассказа. «Кругом оштрафованный» им «нормальный мужик» Макара Ганушкин отправляется в Москву на промысел в надежде заработать денег на оплату штрафов. Штрафные санкции Чумового выписаны в той же абсурдной логике, что и действия «государственного жителя» Петра Веретенникова: за организацию народной карусели без разрешения государственного лица, за сбежавшего во время зрелища жеребенка, принадлежащего Чумовому, «за общественное беспокойство», доставленное открытием железной руды на дне колодца... Однако природная одаренность героя «с умными

руками и порожней головой» оказывается не нужной ни в провинции, ни в столице, где в государственных учреждениях сидят люди, подобные Льву Чумовому.

Кульминацией рассказа становится сон героя:

...он увидел во сне гору, или возвышенность, и на той горе стоял научный человек. А Макар лежал под той горой, как сонный дурак, и глядел на научного человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Но человек тот стоял и молчал, не видя горящего Макара и думая лишь о целостном масштабе, но не о частном Макаре. Лицо ученойшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что растилась под ним вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора. Научный молчал, а Макар лежал во сне и тосковал.

– Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен? – спросил Макар и затих от ужаса.

Научный человек молчал по-прежнему без ответа, и миллионы живых жизней отражались в его мертвых очах.

Тогда Макар в удивлении пополз на высоту по мертвой каменистой почве. Три раза в него входил страх перед неподвижно-научным, и три раза страх изгонялся любопытством. Если бы Макар был умным человеком, то он не полез бы на ту высоту, но он был отсталым человеком, имея лишь любопытные руки под неощутимой головой. И силой своей любопытной глупости Макар долез до образованнейшего и тронул слегка его толстое, громадное тело. От прикосновения неизвестное тело шевельнулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было мертвое [Платонов 2009б: 229].

Построенная Платоновым мизансцена повторяет мизансцену из «Медного Всадника» *Евгений у памятника Петру*. При этом писатель максимально увеличивает дистанцию между властителем-демиургом и «маленьким человеком», по сравнению с пушкинским инвариантом: статуя «ученойшего» располагается не на символической, как в поэме, а на естественной горе, так же как Макар не стоит около нее, подобно Евгению, а лежит⁵. Т. е. как тот, так и другой персонаж находятся в предельной позиции: один – в предельно-верхней, второй – в предельно-нижней, чем актуализируется конфликт двух крайних экзистенциальных противоположностей: могущества и бессилия. Не исключено, что Платонов строил эпизод сна, опираясь не только на текст Пушкина, но и на его интерпретацию В. Брюсовым, который в своей статье «Медный Всадник» писал: «Изо всего, что сказано в повести о Петре Великом, нельзя составить определенного облика: все расплывается во что-то громадное, безмерное, “ужасное”. Нет облика и у “бедного” Евгения, который теряется в серой, безразличной массе ему подобных “граждан столичных” (симптоматично, что Макар

также испытывает в Москве чувство потерянности в “гуще сплошных людей” – Е. П.). Приемы изображения того и другого, – покорителя стихий и колomenского чиновника, – сближаются между собою, потому что оба они – олицетворения двух крайностей: высшей человеческой мощи и предельного человеческого ничтожества» [Брюсов 1987: 178]. В сне Макара вторая крайность усиливается мотивом страха, перекликающимся с мотивом смятения, аккомпанирующим состоянию пушкинского героя, напуганного видением скачущего Всадника. В то же время положение фигуры Макара позволяет вписать сюжетную ситуацию сна в контекст пушкинской парадигмы «очной ставки с властителем» [Жолковский 2001]: он не просто лежит перед «ученойшим», а ожидает от него «либо слова, либо дела», но, как и Евгений в «петербургской повести», испытывает ужас после своего дерзновенного обращения к «научному человеку».

С «Фаустом» Гете данный эпизод корреспондирует ожиданием Макара «либо слова, либо дела», отсылающего к переводческой рефлексии гетевского героя над началом Евангелия от Иоанна:

Написано: «В начале было Слово» -
И вот уже одно препятствие готово:
Я слово не могу так высоко ценить.

<...>

Я напишу, что Мысль - всему начало.
Стой, не спеши, чтоб первая строка
От истины была недалеко!

<...>

Но свет блеснул – и выход вижу я:
В Деянии начало бытия! [Гете 1996: 56–57]

Пародирование учености в рассказе манифестирует провал социального утопического эксперимента, становясь также знаком автопародии, разочарования Платонова в своем юношеском фаустианстве. Образ статуи здесь больше соответствует пушкинской метафоре «горделивый истукан», чем «мощный властелин судьбы»: «Лицо ученойшего человека было освещено заревом дальней массовой жизни, что растилась под ним вдалеке, а глаза были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далекого взора».

Далее писатель выстраивает оригинальную вариацию прецедентной сюжетной ситуации: если пушкинский Евгений, напуганный величием «кумира», убегает от него в страхе, то Макар, после того, как не получил от статуи ответа на свой вопрос о смысле жизни, карабкается к ней по горе, трижды преодолевая страх любопытством. Когда же он, наконец, добрался до «образованнейшего» и прикоснулся к «толстому, громадному телу», оно «шевелинулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было мертвое». В этой финальной сцене сна происходит уплотнение пушкинского подтекста через введение мотивов *ожившей статуи* и *прикосновения к статуе*, символизирующего встречу со смертью и отсылающего к «Каменному гостю». Семантическая параллель между «ученойшим человеком» и смертью сигнализируется соответствующей мотивной символикой: мертвых глаз, мертвой почвы,

⁵ Как известно, пьедесталом Медному Всаднику Фальконе служит «Гром-камень», символизирующий собой дикий утес, скалу (См., напр.: [Синдаловский 2002: 72–73]), что возводит фигуру Петра в воздушную беспредельность. Платонов, помещая фигуру «умнейшего» не на символическую, а на естественную гору, достигает визуального эффекта его максимального удаления от героя.

мертвого тела. «Ученейший» становится, таким образом, аллегорией мертворожденности «головной» революционной идеи. Любопытно, что в роли «гостя» у Платонова предстает не ожившая статуя, а «являющийся» к ней «ничтожный» герой, в итоге оказавшийся наиболее жизнеспособным. Величие же «умнейшего» оказывается мнимым.

Как неоднократно подмечено исследователями творчества Платонова, его аллюзии на «чужое слово» содержат несколько подтекстов [Толстая-Сегал 1980; Дужина 2003 и др.]. Так и в сне Макара Ганушкина, сквозь пушкинский слой мерцает подтекст рассказа В. Г. Короленко «Сон Макара», на что указывают в первую очередь контаминация мотива сна с именем героя, а также ситуация встречи героя со смертью. Но если сон Макара в рассказе Короленко является предвестником его смерти, то сон платоновского героя, наоборот, становится провозвестником краха власти бюрократической системы, символизируемой статуей «ученейшего», и торжества «обыкновенного» человека, с «любопытными руками» и «неошутимой головой».

Еще одним подтекстом данной сюжетной ситуации является сон царя Навуходоносора в библейской Книге Даниила⁶. Метафора «золотых голов вождей», под которыми Макар Ганушкин намеревается «добывать себе жизнь» [Платонов 2009б: 220], прозрачно намекает на библейский образ истукана с головой из чистого золота в сне Навуходоносора, бросающего свой отсвет и на статую «ученейшего». Усиливается данная аналогия мотивом падения: мертвое тело статуи обрушивается от прикосновения маленького человека так же, как библейский истукан на глиняных ногах⁷ падает от удара камня, который «сделался великою горою и наполнил всю землю» (Дан. 2: 35).

«Воскресение» властителя возникает в облике ночлежного надзирателя, наметившего себе думать за всех и «существовать вроде Ильича-Ленина» - глядеть «и вдаль, и вблизи, и вширку, и вглубь, и вверх» [Платонов 2009б: 230], – с многозначительным прозвищем «рябой Петр», знаково соединившим в себе образы двух главных фигур сталинской и петровской эпох (как известно, лицо Сталина было помечено следами оспы, что делало его «рябым»). Намереваясь строить социализм «руками массового человека, а не чиновничьими бумажками наших учреждений» [Платонов 2009б: 233], в помощники себе рябой Петр берет Макара. В результате их совместной работы «с бедным приходящим народом» необходимость в государственных учреждениях отпадает, так как каждый теперь научился думать и решать свои проблемы сам. Так в платоновском тексте реализуется библейская метафора камня, сделавшегося горою и наполнившего всю землю, чем символизируется сближение двух противоположных начал: государственной власти и обыкновенного рядового человека, пушкинских Петра и Евгения.

⁶ На эту аналогию обращено внимание в монографии Н. П. Хрящевой. См.: [Хрящева 1998: 222].

⁷ Образ истукана на глиняных ногах обыгрывается также в романе «Чевенгур» – в изображении памятника Прохору Дванову, вылепленного из глины.

Позиция платоновского Макара, принявшего вместе с рябым Петром власть от некоего «высшего» чиновника после овладения книжным знанием в объеме ленинских трудов, соотносимых в советском государстве с высшей истиной, перекликается с возвышением царем Навуходоносором «одного из отроков израильских» до уровня начальника «над всею областью Вавилонскою» и его утверждение «главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими» (Дан. 2: 48).

В историческом близком литературно-идеологическом контексте финал рассказа обыгрывает завершающую часть драмы Луначарского «Фауст и Город» и ленинские работы о государстве. В одной из последних сцен драмы Луначарского Фауст отказывается от власти в созданном им Тротцбурге, убедившись в торжестве народного разума, способности народа жить собственным умом и строить свою судьбу. Платоновский рассказ варьирует эту финальную ситуацию, переводя ее в жанр народной были. Простота решений Макаром и Петром социальных проблем «на базе сочувствия неимущим» стала для «бедного приходящего народа» собственной школой мысли, «и народ перестал ходить в учреждение Макара и Петра, потому что ... сами бедные могли думать и решать так же, и трудящиеся стали думать за себя на квартирах» [Платонов 2009б: 234]. Произвольное переложение «книжек Ленина» (вероятно, работ «Государство и революция», 1918 г., «О государстве», 1919 г., где одной из ведущих идей является идея отмирания государства, выраженная в рассказе фразой «народ перестал ходить в учреждение...»), по которым герои Платонова учатся общественному самоуправлению («Наши учреждения – дерьмо, – читал Ленина Петр, а Макар слушал и удивлялся точности ума Ленина. – Наши законы – дерьмо. Мы умеем предписывать и не умеем исполнять. В наших учреждениях сидят враждебные нам люди, а иные наши товарищи стали сновниками и работают, как дураки...») [Платонов 2009б: 233]), служит в рассказе утверждению житейской, а не книжной мудрости. Таким житейским мудрецом становится в глазах героев Ленин, мысль которого – это «написанная живьем» революция.

Однако, утверждая позицию героев, автор одновременно разоблачает ее, поскольку местом, в котором Макар с Петром осваивают ленинские труды, оказывается сумасшедший дом, именуемый в тексте то «институтом душевноболящих», то «душевной больницей», то «безумным домом». Из него-то герои уходят «бороться за ленинское общедняцкое дело» [Платонов 2009б: 234]. Семантическое тождество между лексическими единицами возникающего в этой части рассказа синонимического ряда *душевная боль*, *болезнь души*, *безумство*, *сумасшествие*, их взаимозаменяемость в тексте становится репрезентацией, с одной стороны, абсурдной реальности, с другой, – реальности абсурда в советском жизнеустройстве. Можно сказать, что укрепление к концу 1920-х гг. тоталитарной государственной системы убеждает Платонова в абсолютной утопичности ленинского теоретизирования, граничащего с безумством.

В рамках платоновского *московского текста* «властолюбивый истукан» воскресает в романе «Счастливая Москва» в устрашающем облике «скромного Сталина» – последователя ленинского вождизма, достигшего уровня властелина всеобщей судьбы: «улыбающийся скромный Сталин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, неизвестного социалистического мира, – жизнь простиралась в даль, из которой не возвращаются» [Платонов 1999: 95]. Образ властителя достигает здесь демонической однозначности, не предполагающей возможности какого-либо диалога. Фаустофелевская двупостасность Петра I, отчетливо прописанная не только в пушкинском «Медном Всаднике», но и платоновских «Епифанских шлюзах», сжимается в образе «научного человека», а затем «скромного Сталина» до чистого мефистофельства.

ЛИТЕРАТУРА

Брюсов В. Я. «Медный Всадник» // Брюсов В. Я. Соч.: в 2 т. Т. 2. – М.: Худож. лит., 1987.

Гете И. В. Фауст. Трагедия / пер. с нем. Н. А. Холодковского. – М.: Азбука-Классика, 1996.

Дужина Н. Мелодии шарманки (Цитата и аллюзия в пьесе «Шарманка») // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 5, юбилейный. По материалам пятой международной научной конференции, посвященной 50-летию со дня кончины А. П. Платонова. 23–25 апреля 2001 года. Москва. – М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 514–531.

Данные об авторе:

Елена Николаевна Проскурина – доктор филологических наук, профессор Института филологии СО РАН (Новосибирск)

Адрес: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8.

E-mail: proskurina_elena@mail.ru

About the author:

Elena Nikolaevna Proskurina is a Doctor of Philology, Professor of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Novosibirsk).

Жолковский А. К. Очные ставки с властителем // Пушкинская конференция в Стэнфорде. Материалы и исследования. Вып. 7. – М.: ОГИ, 2001. С. 366–402.

Платонов А. Пушкин – наш товарищ // Платонов А. Собр. соч.: в 3 т. Т. 2. – М.: Сов. Россия, 1985.

Платонов А. Город Градов // Платонов А. Эфирный тракт. Повести 1920-х – начала 1930-х годов. – М.: Время, 2009а.

Платонов А. Государственный житель // Платонов А. Усомнившийся Макар. Рассказы 1920-х годов. Стихотворения. Собрание. – М.: Время, 2009б.

Платонов А. Счастливая Москва // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 3. По материалам третьей международной научной конференции, посвященной творчеству А. П. Платонова. 26–28 ноября 1996 года. Москва. – М.: Наследие, 1999. С. 9–105.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 4. – Л.: Наука, 1977.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 5. – Л.: Наука, 1978.

Синдаловский Н. А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. – СПб.: Норинт, 2002.

Соловьева Т. А. Адмиралтейская набережная. – СПб.: Книга, 2007. С. 31–51.

Толстая-Сегал Е. Литературный материал в прозе Андрея Платонова // Возьми на радость. – Амстердам, 1980.

Хрящева Н. П. «Кипящая вселенная» Андрея Платонова (динамика образотворчества и миропостижения в сочинениях 20-х годов). – Екатеринбург; Стерлитамак, 1998.

Шульц Р. Отзвуки фаустовской традиции и тайнописи в творчестве Пушкина. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2006.

Якушева Г. В. Фауст в искушениях XX века. Гетевский образ в русской и зарубежной литературе. – М.: Наука, 2005.